

БЫТЬ
СЕСТРОЙ

МИЛОСЕРДИЯ

ЖЕНСКИЙ
ЛИК ВОЙНЫ



КАК ЖИЛИ ЖЕНЩИНЫ РАЗНЫХ ЭПОХ

Как жили женщины разных эпох

**Быть сестрой милосердия.
Женский лик войны**

«Алисторус»

2016

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)-44

Быть сестрой милосердия. Женский лик войны / «Алисторус»,
2016 — (Как жили женщины разных эпох)

ISBN 978-5-906914-31-6

Настоящая книга представляет собой сборник воспоминаний сестер милосердия. Эти женщины спасли тысячи жизней в годы Крымской, Русско-японской и Первой мировой войны. Записки сестер милосердия как нельзя лучше рассказывают о героической работе Российского Общества Красного Креста во время военных действий и эпидемий. Вы узнаете о жизни самих сестер милосердия, о проблемах, которые их волновали, об их характерах и судьбах.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)-44

ISBN 978-5-906914-31-6

, 2016

© Алисторус, 2016

Содержание

И. С. Тургенев	6
Е. М. Бакунина	8
Глава I	9
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Быть сестрой милосердия
Женский лик войны
авт. – сост. Елена Первушина

Серия «Как жили женщины разных эпох»

© Е. Первушина (авт. – сост.), 2016

© ООО «ТД Алгоритм», 2017

* * *

И. С. Тургенев Памяти Ю. П. Вревской

На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный военный госпиталь, в разоренной болгарской деревушке – с лишком две недели умирала она от тифа.

Она была в беспмятстве – и ни один врач даже не взглянул на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах, поочередно поднимались с своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка.

Она была молода, красива; высший свет ее знал; об ней осведомлялись даже сановники. Дамы завидовали ей, мужчины за ней волочились... два-три человека тайно и глубоко любили ее. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слез.

Нежное кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи... она не ведала другого счастья... не ведала – и не извела. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась – и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним.

Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом ее тайнике, никто не знал никогда – а теперь, конечно, не узнает.

Да и к чему? Жертва принесена... дело сделано.

Но горестно думать, что никто не сказал спасибо даже ее труп – хоть она сама и стыдилась и чуждалась всякого спасибо.

Пусть же не оскорбится ее милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь возложить на ее могилу!

Сентябрь, 1878

Эти строки посвящены Юлии Петровне Вревской, фрейлине императрицы Марии Александровны и близкому другу И. С. Тургенева. Во время русско-турецкой войны Юлия Петровна работала сестрой милосердия полевого госпиталя Российского Красного Креста. В январе 1878 года заболевает тяжелой формой сыпного тифа. Скончалась 5 февраля 1878 года и была похоронена в платье сестры милосердия около православного храма в городе Бяле.



*Юлия Петровна Вревская (1838–1878) – баронесса, урожденная Варпаховская.
Друг Ивана Сергеевича Тургенева.*

*Во время русско-турецкой войны – сестра милосердия полевого госпиталя Российского
Красного креста*

Е. М. Бакунина

Воспоминания сестры милосердия

Крестовоздвиженской общины (1854–1860)

В майской книге «Вестника Европы» за 1893 год, в статье «Накануне реформ», я нашла, что кроме признания интереса исторического и литературного достоинства, заключавшегося в известных воспоминаниях И. С. Аксакова, – в этой статье высказывалось и желание узнать более про то интересное, а для нас, живших тогда, ужасное и тяжелое время. Это дало мне мысль напечатать мои записки с 1854-го по 1860 год.

В ноябре 1854 года великая княгиня Елена Павловна устроила Крестовоздвиженскую общину; я в нее поступила; тогда это казалось очень ново, и многие были против этого. Сестры поехали прямо в Севастополь, и там Николай Иванович Пирогов был нашим главным начальником и руководителем.

Были мы при 1-м перевязочном пункте, на южной стороне Севастополя. Мы ее оставили только уже тогда, когда Малахов курган был занят неприятелем, так что все это происходило на наших глазах. Когда же пришлось нам переехать в Симферополь, я, по желанию Николая Ивановича Пирогова, четыре раза провожала транспорты раненых и больных. Боже, что это было за трудное и мучительное время! В феврале умерла наша сестра-настоятельница Екатерина Александровна Хитрово, и великая княгиня назначила меня сестрой-настоятельницей. Я, побывав в Петербурге, опять вернулась в Крым и ездила по всем госпиталям, где служили наши сестры в десяти городах. Когда же в конце 1856 года военно-временные госпитали были закрыты, мы все съехались в Петербург; тут великая княгиня занялась устройством постоянной общины в Петербурге, и тогда я переписывалась с Николаем Ивановичем Пироговым; его письма помещены в моих записках. Для той же цели я ездила в Берлин и Париж, чтобы видеть устройство тамошних общин. Записки мои кончаются в половине 1860 года, когда я оставила общину.

Глава I

Я не начну своих воспоминаний, как мог это делать талантливый автор писем из эпохи Крымской войны И. С. Аксаков, – с самых первых дней моей молодости: она прошла так, как в то старое время проходила жизнь девушек нашего звания, то есть в выездах, занятиях музыкой, рисованием, домашними спектаклями, балами, на которых я, должна признаться, танцевала с удовольствием, и, может быть, вполне заслужила бы от нынешних девиц, посещающих лекции и анатомические театры, название «кисейной барышни». Но тогда мы все были такие, и мое желание поступить в сестры милосердия встретило сильную оппозицию родных и знакомых.

Теперь это совсем не то, и в последнюю кампанию в сестры Красного Креста шло очень много, можно почти сказать, что это было модой, и они шли на известное, а тогда...

Вот с этого-то времени я и начну мои воспоминания.

В 1854 году мы с сестрой были в деревне у нашей хорошей знакомой, Варвары Петровны Писемской, во Владимирской губернии.

Никогда не забуду я того вечера, когда мы получили газеты с известием, что французы и англичане высадились в Крыму. Я не могла себе представить, что этот красивый уголок нашего обширного отечества может сделаться театром жестокой войны (1849-й и лето 1850 года мы провели в Крыму, так как сестре были предписаны морские купанья. Как хорошо и спокойно там было!).

А через несколько дней опять известие об альминском сражении!

В октябре месяце мы вернулись в Москву. С каким нетерпением мы хватались тогда за газеты; и вот, прочитала я, что французские сестры поехали в военные госпитали; потом в английские госпитали поехала мисс Найтингейл с дамами и сестрами. А что ж мы-то? Неужели у нас ничего не будет? Эта мысль не оставляла меня. На мое счастье, сестра, с которой я была очень дружна, разделяла мои мысли и согласилась отпустить меня, если и у нас тоже будут посылать. Мы поехали к кн. Софье Степановне Щербатовой, у которой мы были помощницами по попечительству о бедных, узнать, неужели ничего не будет у нас. Она сказала: «Говорят, что в Петербурге что-то готовится», – и советовала подождать княгиню Анну Матвеевну Голицыну, которая в это время была в Петербурге. Я всякий день посылала узнать, приехала ли Анна, но дни проходили, а ее все не было.

Но вдруг я получила записку от Софьи Степановны (я ее и теперь помню). Она звала приехать к ней и писала: «У меня есть то, что Вам надо».

Когда мы к ней приехали, она рассказала, что великая княгиня Елена Павловна устроила Крестовоздвиженскую общину, что первый отряд собрался, что они на днях пройдут через Москву и что будут посылать еще. Я решилась ждать их и сейчас к ним поехать, увидаться и все расспросить; а пока я все-таки хотела испытать себя и поехала к знакомому мне доктору, ординатору в полицейской больнице, которую граф Закревский называл «самой гнусной» из всех московских.

Я приехала на визитацию и просила его показать мне всех перевязочных и потом позволить мне приехать провести целые сутки безвыходно в госпитале. Он удивился, взглянул на меня, а я ему сказала: «Павел Яковлевич, я собираюсь ехать в Севастополь».

– Ну, что ж, с Богом! Вы выдержите.

Итак, сбудется мое сердечное желание чуть не с самого детства – я буду сестрой милосердия!

Первый отряд сестер проехал. Я была у них (не помню, где они останавливались); их было тридцать; может быть, несколько и больше. Все мне у них понравилось, и они тоже все понравились. Чтобы ехать далее из Москвы, для них были приготовлены хорошие тарантасы;

их провожал чиновник. Я провела с ними часа два. Как я завидовала, что они уже едут! Они мне сказали, что и второй отряд уже готов и скоро поедет, но будут посылать еще.

На другой же день я написала в Петербург к гр. Антонине Дмитриевне Блудовой, чтобы она сообщила кому следует, что я желаю поступить в сестры, и с нетерпением ждала ответа, а между тем провела сутки безвыходно в больнице, видела много перевязок и очень была довольна тем, что все это перенесла очень спокойно и без утомления.

Но как было горько и досадно, когда в ответ на мое письмо я получила такой ответ: «Теперь собирают петербургских, а когда будут вызывать из Москвы, тогда и вас позовут».

На это я написала, что меня очень удивляет такое разделение и что когда дочь Бакунина, который был губернатором в Петербурге, и внучка адмирала Ивана Лонгиновича Голенищева-Кутузова желает ходить за матросами, то странно, кажется, отказывать ей в этом. На это мне отвечали, что в первый отряд, который соберется, и я попаду.

Но что было ужасно при всех этих проволочках – что всякий день приходилось слушать возражения на мое решение. То приедет Иван Васильевич Капнист, наш родственник, – он был тогда губернатором в Москве, мы с ним были в самых дружеских отношениях, – и начинает он очень серьезно говорить, что приехал уговорить меня не поступать так опрометчиво и не брать на себя таких тяжелых обязанностей. То приедут двоюродные сестры, которые целый вечер болтали о том, как это хорошо, и что надо служить больным. Я молчала, потому что серьезно думала об этом; но когда я сказала, что поеду, то они же были против меня.

Алексей Бакунин, который имел знакомых в Симферополе, привез мне письмо, которое получил оттуда; в нем были описаны все ужасы после альминского сражения и страшное накопление госпиталей и тифозными, и ранеными. Но этот меня знал и не спорил, а, прочитав письмо, сказал: «Ведь я тебя знаю – тебе теперь еще больше захотелось туда ехать».

Но всего больше меня смущал и мучил брат (он военный, был в кампании 1828-го и 29-го годов); он все говорил, что это вздор, самообольщение, что мы не принесем никакой пользы, а только будем тяжелой и никому не нужной обузой.

Нынешние сестры Красного Креста ничего этого уже не испытали.

Наконец я получила приглашение явиться в Петербург, но и на дороге еще меня уговаривали вернуться. Тогда поезда встречались в Бологом; я вышла на вокзал и там встретила Капниста, брата губернатора, который стал серьезно меня уговаривать не продолжать моего пути, а вернуться с ним в Москву... Но, наконец, я в Петербурге. Написала записочку к баронессе Эдите Федоровне Раден. Какой-то будет ответ?

Утром я получила записку от Эдиты Федоровны. Она приглашала меня приехать к ней, чтобы идти вместе к великой княгине Елене Павловне.

Всем давно было известно, что великая княгиня – очень образованная и умная женщина, но я не ожидала, что при этом она так мила и привлекательна. С каким чувством, с каким жаром и участием она относилась к начатому ею делу! Я была ею очарована. Она сказала мне, что приглашает меня переехать во дворец. Я отвечала, что приехала с сестрой, при которой есть еще горничная. Она мне ответила, смеясь: «Вы полагаете, что у меня нет для нее места?».

Итак, было решено, что мы сейчас же переедем во дворец, а обедать будем с фрейлинами.

Отряд готовился небольшой; кроме меня должны были ехать семь сестер, три доктора и два фельдшера; но не все еще было готово, а в это время мы должны были ездить в клинику, то есть во второй сухопутный госпиталь, и заняться перевязками под руководством доктора Чартораева и тоже продежурить там сутки. Я очень скоро туда поехала на дежурство, там встретилась и познакомилась с сестрами, которые тоже собирались ехать. Не помню, кто из них был тогда со мной и много ли их было, но очень помню, как мы проходили всю ночь по этим длинным неопрятным коридорам. Этот госпиталь был тогда в ужасном виде.

В одном только случае мне пришлось сделать над собой большое усилие, чтобы не поддаться страху. Незадолго до этого времени какой-то шальной волк (тогда говорили, что он

бешеный) забежал в Петербург и сильно искушал одну женщину. Она лежала в клинике совершенно особенно. Мы отворили к ней дверь, и она стала нас звать подойти к ней. Вот тогда-то мне стоило большого усилия подойти и поговорить с ней, но я не хотела тогда позволить себе ни малейшей слабости, да и против больной было совестно показать, что я ее боюсь...

Когда я вернулась с дежурства, напилась кофе и собиралась отдыхать, кто-то постучался в дверь, которая вела во внутренние комнаты дворца. Надо признаться, что я встала и с некоторой досадой пошла открывать дверь; вдруг вижу – предо мной стоит великая княгиня. Она вошла, села и с большим участием принялась меня расспрашивать, как я провела ночь, какое действие это дежурство произвело на меня. Говорила, что я должна подумать; что там будет гораздо хуже и труднее. Не сомневаюсь ли я в себе? Если же я раскаялась, то «не надо упорствовать из-за ложного стыда». Все это было сказано с такой добротой, с таким сердечным участием!.. Но я ей отвечала, что, напротив того, я на себя надеюсь и все больше и больше желаю ехать.

Пока мы готовились к отъезду, я почти всякий день видела великую княгиню. Так живо вспоминается мне, как мы с ней сидели на тюках в театре Михайловского дворца, который весь представлял какой-то складочный магазин. Сама великая княгиня все придумывала, обо всем сама хлопотала. Одно меня очень смущало: на тюках, которые готовились для нас, писалось: «в Херсон» и «в Николаев», а мне так хотелось в Крым, в Севастополь!

Помню тоже очень, как мы все восемь и, кажется, еще несколько готовившихся поступить в сестры были в клинике на операции, и великая княгиня была тут же с нами во все время операции, которая длилась очень долго; ее делал Немерт.



Екатерина Михайловна Бакунина (1810–1894) – сестра милосердия, героиня двух войн XIX века

Я еще ездила раза два на перевязки утренней визитации. Помню, что много было гангренозных. Это было хорошее приготовление для Севастополя. Знаю, что некоторые доктора

надо мной смеялись, говорили: «Что это за сестра милосердия, которая ездит на перевязки в карете!». Но я так боялась простудиться и быть вынужденной остаться, что очень берегла себя. И, слава Богу, я не была хуже других и готовилась очень серьезно к принятию давно желаемого звания сестры милосердия, говела и причастилась.

И вот наступило 10 декабря. Мы все восемь, уже одетые в коричневые платья, белые передники и белые чепчики, пошли к обедне в верхнюю церковь дворца. Великая княгиня была там; еще были разные дамы и тоже мои родственники: сестра моя, Федор Николаевич Глинка с женой и другие.

После обедни священник громко прочел наше клятвенное обещание перед аналоем, на котором лежали Евангелие и крест, и мы стали подходить и целовать слова Спасителя и крест, а потом становились на колени перед священником, и он надевал на нас золотой крест на голубой ленте. Эта минута никогда не выйдет из моей памяти!..

Но и тут я имела маленькое смущение: когда я отошла к стоящим, Феофил Толстой, остановив меня, сказал: «Что вы сделали, кузина!». Но уже это было последнее сопротивление, и затем все признали совершившийся факт. На другой день мы выехали в Москву.

Странно было приехать в Москву, в свой родной город, и поехать не в дом, где мы жили вместе с братом, а поехать вместе с сестрами в клинику на Рождественку, где для нас было приготовлено помещение. Мы остались несколько дней в Москве, экипажи не были готовы. Мы ходили в клинику, учились бинтовать на фантоме. Я помню, что ездила только, как настоящая москвичка, помолиться в часовне Иверской Божией Матери и со всеми сестрами принять благословение митрополита Филарета; да еще была у старой тетушки. А то родные и знакомые приезжали ко мне в клинику, а две мои сестры даже ночевали со мной в общей нашей комнате. Странное это было для меня время – точно во сне!

Наконец 15 декабря мы пустились в путь; в двух тарантасах ехали мы, сестры, в третьем – доктора, и еще перекладная для клади и фельдшеров. И всегда некрасивые и тяжелые четырехместные тарантасы были еще неуклюжее, поставленные на полозья и с привязанными тут же колесами. Я не стану подробно рассказывать этого длинного путешествия, но расскажу из него некоторые эпизоды. И для тех, которые ездят или, правильнее сказать, которых возят несколько вроде клади по железным дорогам, этот рассказ покажется из «времен очаковских и покоренья Крыма».

20 декабря мы с трудом дотащились до Белгорода и тут должны были остаться почти весь день. Надо было бросить полозья и ехать на колесах. Дорога ужасная! Еще в наших тарантасах мы ехали немного скорее, но несчастные сердобольные, которых везли в огромных мальпостах, ужасно бедствовали; экипажи у них беспрестанно вязли и ломались. В Белгороде нас повезли прямо в дом купца, где нам был приготовлен обед; а я могла исполнить свое желание ехать поклониться святителю Иосафу. Потом нас еще повезли в женский монастырь; там чудотворный образ Корсунской Божией Матери. До Харькова мы доехали скоро; там была дневка, и мы обедали у генерал-губернатора Кокошкина, где нас очень любезно приняли.

Мы надеялись теперь беспрепятственно продолжать наш путь. Но увы! Когда 24 декабря, почти у Екатеринослава, мы подъехали к Днепру, нам объявили, что нас перевезут, но экипажей нельзя перевезти, паром не ходит, что слишком большие закраины и много льда. Нечего делать. Мы взяли самые нужные вещи, подушки и отправились по льду до дуба (так называются здесь большие лодки с палубой); часто лед нас затирал, и тогда все находящиеся на лодке раскачивали ее с протяжным криком: «Качай дуба! Качай дуба!».

Наконец мы стали приставать к ледяным закраинам другого берега, но несколько раз он оказывался слишком тонким и ломался под досками, которые на него бросали. Наконец удалось нам перебраться на берег и достигнуть Екатеринослава, кто на дрожках, кто на перекладной, а кто и пешком. Наши экипажи нескоро переправились, и нам пришлось остаться несколько дней. Как я рада была, когда мы опять поехали! Но вот что было ужасно: несмотря

на то, что мы ехали с подорожной по казенной надобности, нам запрягали по три пары волов несколько станций сряду. Этот постоянно медленный воловий шаг выводил меня совершенно из терпения. Еще помню, как мы 30 декабря совсем сбились с дороги; ночь была непроглядная, лошади останавливались, дождь, ветер, и в перспективе – провести ночь в степи. Еще так, на авось, мы подвинулись, не зная куда. И вдруг увидали огни и кое-как до них доехали. Это оказалась Новая Грушевка, имение барона Штиглица, где управляющий и его семейство встретили нас очень радушно. Надо было иметь в перспективе провести ночь в завязнувших тарансах, в непроглядной тьме, чтобы оценить вполне светлые, теплые комнаты, кипящий самовар и сон на посланных постелях! Тут мы остались ночевать и уже на волах пустились утром далее, чтобы ехать день и ночь.

Но когда мы приехали в Нововоронцовку, то наш погонщик нам объявил, что он нас не «свалит» на станции, а он знает, куда нас «свалить», и свалил он нас перед хорошим домиком. Это распорядился полковник Солнцев, управляющей имением графа Воронцова, и нам был сделан самый милый прием.

Полночь на 1 января 1855 года пробило, когда мы сидели за столом, поздравляли друг друга и от всей души желали всего хорошего. Грустно и тяжело было встретить новый год совсем с чужими, а все-таки надо было стараться быть повеселее.

На следующий день, после завтрака, мы пустились в путь; нам заложили две пары волов. Их оказалось мало, припрягли еще две пары, и вот восемь волов с трудом нас тащат по три версты в час. Это нестерпимо! Только последние две станции нам дали лошадей, и мы скоро доехали до Берислава.

В Бериславе мы должны были найти письмо от Николая Ивановича Пирогова с распоряжением его, куда нам ехать. Письмо это и было оставлено, но сестры второго отделения взяли его и распорядились по нем, то есть некоторые из них поехали в Херсон, а другие – в Симферополь; тут эти две дороги расходятся.

Из трех докторов, которые ехали с нами, двое посылались тоже великой княгиней на перевязочный пункт, а третий, доктор Василий Иванович Тарасов, был назначен доктором нашей общины и должен был всем распоряжаться. Он и написал Николаю Ивановичу и послал эстафет (тогда еще не было телеграфа). Я должна признаться, что меня очень обрадовало то, что уже другие отправились в Херсон, – авось мы попадем в Севастополь. Но нам пришлось ждать ответа несколько дней. Здесь можно было уже чувствовать, что мы подвигаемся к месту, где война, слышать рассказы, как мы бежали из Евпатории, и иногда смешные рассказы; например, как наши бежали под Перекопом, воображая, что за ними гонится неприятель, а за ними гнались казаки, чтобы их остановить... Мы пробыли в Бериславе и крещенский сочельник, а в Крещение ходили на Иордань на Днепр. Очень было красиво: высокая гора, на которой стоит город, была вся покрыта народом. Через несколько дней получен был ответ: ехать в Симферополь. И вот, то на волах, то на паре верблюдов (эти по крайней мере идут скорее, по семи верст в час), мы добрались до Симферополя.

Приехали прямо в дом, где жили сестры первого отделения. Впечатление было очень грустное. Они со всем рвением и усердием принялись за дело; симферопольские госпитали были переполнены ранеными и особенно тифозными, и сами сестры стали очень скоро заболевать. Когда я приехала, то уже четыре сестры умерли; иные поправлялись, а другие еще были очень больны, и сама старшая этого отделения, она же и начальница всей общины, Александра Петровна Стахович, лежала еще в постели.

Я знала Симферополь прежде. Мы тут провели зиму 1850 года, когда приезжали с сестрой, но этот мирный, тихий городок был неузнаваем. Мы тогда хорошо тут жили. У меня были и знакомые, и первый – добрейший и милейший Владислав Максимович Княжевич. Я сейчас пошла к нему, и тут же, для увеличения грустного впечатления, узнала о смерти дяди. На другой день я отыскала в госпитале своего давнишнего и хорошего московского знакомого, Алек-

сандра Михайловича Дмитриева. Он ранен; но ему лучше. Он очень удивился и обрадовался, увидав меня.

Не вдруг мы узнали окончательное распоряжение насчет сестер; но, наконец, было решено, что все сестры будут в Севастополе. Уже 16 сестер второго отделения там, на южной стороне, то есть именно в Севастополе, а сестры первого отделения тоже туда поедут, как только поправятся. Сестры, что приехали со мной, тоже должны туда ехать. Сестра-начальница сначала пожелала, чтобы я осталась тут заняться их домашними делами. Я скрепя сердце согласилась, но мои сестры подняли плач и приходили в ужас, как им ехать без меня; а так как Александра Петровна Стахович стала чувствовать себя крепче, то и решила, что я могу уехать.

И вот мы стали собираться. Надо было и то, и другое приготовить и взять с собой. При первом отделении находился чиновник Филиппов, такой мешкотный; он меня несколько раз выводил из терпения с укладкой разных мелочей и продержал нас так, что мы выехали поздно и только доехали до Бахчисарая. Тут дорога была хороша, а там, что ближе к Севастополю, то хуже. Мы не решились ехать дальше, а ночевать тут же.

Приходила ко мне сестра Лоде; они уже недели три при бахчисарайском госпитале. Она мне очень понравилась; жаль, если мы не будем с ней вместе.

Утром на измученных лошадях и по ужасной дороге подвигались мы к Севастополю. Хорошо еще, что в моем тарантасе было заложено пять лошадей; и вот, когда какой-нибудь тарантас завязнет, их туда везли и пристегивали. Можно легко себе представить, как наше путешествие совершалось медленно; но погода была великолепная, легкий мороз, воздух чистый и свежий, и местами так сухо, что мы могли идти пешком.

В пять часов мы были на Северной и долго не знали, где нам приютиться. Наконец Тарасов отыскал смотрителя морского госпиталя, и тот дал нам комнату, всю заваленную разными тюками, на которых мы и расположились, а его жена и теща пришли нас напоить чаем. Они здесь тоже на бивуаках: их госпиталь совсем разрушен бомбами, и они сюда перешли на четвертый день бомбардировки, но никого из всего госпиталя не только не убило, но и не ранило.

Боже, как я была глупа, слушая пальбу! Мне надо было себе говорить, что это стреляет в нас неприятель, а то так и кажется – на Ходынке ученье.

19 января мы провели дома, только выходили полюбоваться через бухту на Севастополь. Как он красив! Смотрели на вражеский флот, который очень гордо красуется на горизонте, а наш!..

На другой день ездила с сестрой Александрой Ивановной Травиной познакомиться с сестрами. Их старшая сестра Меркулова очень приятной наружности и очень мне понравилась. Ходили в госпиталь, где занимаются сестры. Но наш доктор никак не хочет, чтоб мы, не отдохнув хорошенько, поступили в госпитали. Итак, мы опять вернулись на Северную.

Наконец, 21 января мы пошли в бараки. Очень мы были рады приняться за дело. Но странно, дико все это казалось: и доктора незнакомые, и все такое чуждое. Какой-то француз с радостью закричал: «А, сестра!» – и еще более обрадовался, когда я с ним заговорила. Но не долго мы тут оставались. Приехал Николай Иванович и сказал, что лучше и нам тоже переехать на ту сторону, то есть именно в Севастополь, чему мы очень обрадовались. Прошло дня три, покуда нам приготовили квартиру. Доктора тут же с нами поместились.

Как мне живо вспоминаются эти две маленькие комнатки и звуки органа (в этом доме помещалась католическая церковь). Но мы не долго оставались тут, а перешли в тот же дом, где помещалась Меркулова с сестрами. Мы очень желали, то есть я и она, соединиться совершенно; я ей даже предлагала, так как ее сестер было гораздо больше, быть старшей над всеми, но она этого не захотела, и было положено, что мы будем заниматься домашними делами вместе, и дежурство тоже. Но ни ее, ни мои сестры не были этим довольны. Мы надеялись, что это потом обойдется. Оно и обошлось.

Николай Иванович Пирогов был неутомим и всем распоряжался; он нашел, что в собрании, где был первый перевязочный пункт, необходимо проветрить, так как там постоянно стала появляться рожа. Он велел раненых, которые были покрепче, отправить на Северную в бараки, а прочих перевели в Николаевскую батарею, в которой и прежде уже лежали больные, то есть раненые. Две или три сестры второго отделения жили там; другие из того же отделения приходили туда дежурить. И я, и мои сестры сначала тоже туда ходили на дежурство. Перевязочный пункт открыли в так называемом Инженерном доме. Это были на дворе небольшие домики, так что постоянно из одного помещения в другое надо было ходить по двору.

Живо мне вспоминается, как, бывало, идешь по двору, вдруг что-то блеснет: тепло, несмотря на февраль, – так и кажется, что это зарница, но раздавшийся гул вам тяжело напомним про бомбы.

При перевязочном пункте должна была жить сестра Травина, для заведования хозяйством, аптекой и порядком. Еще мы заняли небольшой дом, там тоже должна была жить одна сестра.

Четвертое помещение – дом Гущина *de funeste mémoire*, на дверях которого, как мы говорили, должна была быть та же надпись, что на дверях ада у Данте: «Оставьте надежду все входящие». Тут тоже жили две сестры второго отделения, а мы, прочие сестры, дежурили по суткам то в том, то в другом доме. Я больше дежурила на перевязочном пункте. Сначала все это было странно, чудно, но в это время раненых не было так много; иногда трех человек вдруг принесут, иногда сами приходят. Но что дальше, то больше, и часто от 16 до 20. Тут же, тотчас, и начинаются операции: ампутации, резекции, трепанации. Большею частью все делал сам Николай Иванович. Докторов очень много всех наций, даже американцев. Все они очень учтивы, даже чересчур. Говорят: «Будьте добры сделать то или это; сделайте одолжение, давайте через два часа это лекарство». И русские доктора очень внимательны и учтивы.

Я не хочу в подробности описывать все эти страдания, все эти операции, мучения, крики; да это, несмотря на ужасы, по самому своему продолжению становилось монотонно и продолжалось не день, не три, не неделю, не месяц – а месяцы!

Когда мы приехали, Севастополь был еще очень красив. И улица, где мы жили, площадь, где была лавка со всяким товаром и даже много посуды, стекла, и Екатерининская улица, – все было совершенно нетронуту. Как-то раз я ходила покупать разные мелочи и забывала, что мы окружены огненным кольцом неприятельских батарей. Вот тут ко мне подошел доктор Реберг; он ехал с нами из Петербурга и сказал мне, что сейчас ходил гулять на наши бастионы. Только что он от меня отошел, как ко мне подошел унтер-офицер, спрашивая меня довольно грозно:

– Кто с вами говорил?

Я отвечаю: «Доктор». Он мне говорит: «Берегитесь, это дело серьезное; он, кажется, шпион».

Тогда я ему сказала, что он может идти на перевязочный пункт, где этот доктор постоянно работает. Слово «шпион» здесь возбуждало всегда страшное волнение.

Очень было тяжело ходить по Севастополю и встречать отряды, которые идут на батареи. Они идут бойко, весело, но за ними три или четыре человека несут носилки. Сердце так и сожмется, и подумаешь: «Для которого это из них?». Или встретишь четырех человек, которые несут носилки; на иных нет ни движения, ни звука, а с других раздается еще стон, – и подумаешь: «Право, лучше тому, для которого уже все кончилось! А этому еще сколько придется выдержать и, может быть, для такого же конца!». А с каким терпением наши солдаты переносили свои страдания! Сколько раз я слышала эти слова: «Господь за нас страдал, и мы должны страдать»!

Несмотря на то, что на южной стороне не оставляли больных и мы ходили только за ранеными, в один день семь сестер слегли в тифе, а потом так и продолжалось: то две, то одна занемогают, и доктора тоже стали болеть, так что уход за ранеными и за больными сестрами стал

очень затруднителен. Хорошо, что в это время А. П. Стахович со своим отделением приехала. Она с большим числом сестер осталась на Северной, где уже тогда было много больных, а к нам отделили некоторых.

Не могу вспомнить, в какое время, – в начале ли марта, или позднее, – приехало еще отделение сестер из Петербурга. Их поместили на Павловский мысок, но, сколько мне помнится, после 26 мая и потери трех редутов, Селенгинского, Волынского и Камчатского, их перевели в морской госпиталь, который был в Михайловской батарее.



*Александр Леонтьевич Обермиллер и Николай Иванович Пирогов.
Фотограф А. Сумовский. 1877 г.*

Начиная писать эти воспоминания, я не думала придерживаться хронологического порядка, но скоро увидала, что это необходимо: без этого нельзя сделать ясным, как постепенно положение наше все ухудшалось и ухудшалось.

Не помню в точности, какого именно числа февраля я дежурила на Николаевской батарее; рано утром у одного раненого сделалось сильное кровотечение, и врач послал позвать доктора А. Л. Обермиллера. Помочь раненому было невозможно – кровотечение было из сонной артерии, но тут же Обермиллер сказал доктору по латыни, что государь Николай Павлович умер! Для нас это было совершенно неожиданно; мы слышали только, что великие князья Николай и Михаил Николаевичи, которые жили более месяца в Севастополе и часто посещали на южной стороне наши госпитали, вдруг уехали, но мы все решили, что это, верно, для императрицы. А между тем тут же было велено всем идти в собор для присяги. А я, глядя на нашего скончавшегося солдата, мысленно повторяла слова последней погребальной песни: «К судии бо отхожу, иде же несть лицеприятия: раби и владыки вкупе предстоят, царь и воин, богат и убог в равном достоинстве, кийждо бо от своих дел или прославится, или постыдится...»

И мы в эти дни похоронили одну из сестер. Здешний священник Петропавловской церкви, отец Арсений Лебединцев, который к нам часто ходил и которого мы все полюбили, отпевал ее, также и монах Вениамин, который еще из Петербурга приехал с общиной и оставался с сестрами на Северной. Стахович с сестрами тоже приехала проводить. Грустны и торжественны были эти проводы! Надо было через бухту ехать на Северную – на Южной уже никого не хоронили. И вот, при звоне колоколов, при пении «Святый Боже», которому постоянно вторила пальба, с развевающимися хоругвями, при чудной погоде, мы пошли на Графскую пристань и на катере, с гробом и духовенством, переехали бухту. Никогда не забуду я этого дня!

В начале марта, после одной ночи, в которую была сильная бомбардировка, утром доктор Тарасов прислал мне сказать, что необходимо послать сестер в дом Собрании, так как там много раненых, а те маленькие домики, в которых был наш перевязочный пункт, недостаточны для такого числа.

Взяв с собой одну сестру, я пошла в дом Собрании. Это прекрасное строение, где прежде веселились, открыло вновь свои богатые, красного дерева, с бронзою, двери для внесения в них окровавленных носилок. Большая зала из белого мрамора, с пилястрами из розового мрамора через два этажа, а окна – только вверх. Паркетные полы. А теперь в этой танцевальной зале стоит до ста кроватей с серыми одеялами и зеленые столики; все очень чисто и опрятно. В одну сторону большая комната; это – операционная, прежде бывшая билльярдной; за ней еще две комнаты; в другую сторону еще две комнаты, с прекрасными, с золотом, обоями, и в них тоже койки. Утром было 11 ампутаций, и потом еще несколько в продолжение дня. Сначала не обошлось без суеты и лишней беготни, пока устроились в новом помещении. Вечером Тарасов объявил нам, что князь Васильчиков велел сказать, что ночью будет дело и чтобы все было наготове и исправно.

И вот собрались доктора, и, разумеется, первым явился неутомимо работающий, живой, одушевленный и возбуждающий и в других одушевление и ревность к труду Николай Иванович Пирогов. Ясно помню и других докторов, постоянно находившихся на перевязочном пункте; а именно: наш общинный врач В. И. Тарасов, Реберг, Дмитриев. Эти трое приехали вместе со мною; но Дмитриев скоро занемог тифом и так пострадал, что принужден был уехать. С Николаем Ивановичем, который, как мне помнится, приехал еще в ноябре, приехали Обермиллер, Каде и Калашников, этот последний всегда был при Гушином доме. Были еще присланные великой княгиней Еленой Павловной Бенерс – Пабо, Хлебников, Тюрин. Из полковых докторов был постоянно при перевязочном пункте Иван Михайлович Добров, да еще два, как служащие при госпитале, а не как хирурги, Рождественский и Ульрихсон.

В этот вечер собралось восемь докторов и восемь фельдшеров, да ко мне пришли две сестры; мы все готовили, резали, катали бинты. Наша дежурная комната была в дамской уборной. Там жила постоянно одна сестра, которая заведовала хозяйством, имела чай, сахар, водку для больных. У нас почти постоянно кипел самовар, так как часто надо было поить раненых чаем с вином или водкой, чтобы поднять пульс, прежде чем хлороформировать. А как ужасно, когда по слабости раненого операцию делали без хлороформа: что за страшные были тогда крики!

И в этот вечер у нас в большой зале все приготовлено: стаканы, водка, самовар кипит. В операционной, вокруг Николая Ивановича, сидят доктора. В одиннадцатом часу начала раздаваться пальба, и тотчас же стали раскрываться настежь наши парадные двери: то двое, то трое носилок сряду; то два человека ведут под руки раненого. Доктора их осматривают, при затруднительных случаях зовут друг друга на совещание, раздаются слова: «Этого на Николаевскую батарею!» (значит, легко ранен), «Этого в Гушин дом!» (значит, без всякой надежды), «Этого оставить здесь!» (значит, будет ампутация, экзартикуляция или резекция).

Ночь началась очень страшно, но, слава Богу, всего было только 50 раненых и 4 ампутации.

С 10-го на 11 марта у нас произошла большая тревога. Я только что собралась уйти в пустую комнату отдохнуть, как вдруг слышу – пальба все сильнее и сильнее; я вышла на крыльцо с дежурным доктором. Мы смотрели и слушали, различая, когда стреляют наши, когда – неприятели. Меня этому еще прежде солдаты научили. Точно был фейерверк: так и сверкали выстрелы, освещая окрестные строения. Все пришло в движение; забили тревогу; как будто и на нас повеяло войной: то пройдет толпа, то слышен говор, то между двумя выстрелами раздается хохот и очень дико звучит между свистом ядер и бомб. Прискакал к нам Обермиллер и объявил, что сейчас явятся все доктора. Я послала за сестрами. На горе загло дом ракетой, и пожар как-то грозно освещал Севастополь. Но у нас раненых было немного – их носили на третий перевязочный пункт. Утром наши доктора поехали туда и перевезли до ста раненых, а более 50 осталось у нас. С семи часов вечера до одиннадцати продолжались операции, а на другой день – с десяти часов до двух.

Я знаю, что доктора и даже сестры при позднейшей, более консервативной хирургии поразились бы, если б я подробнее стала описывать то множество ампутаций, которые делались у нас всякий день; но пусть они вспомнят, что все ранены были ядрами и осколками бомб, и поэтому, кроме ран, был всегда и ушиб; к этому еще – скученность раненых, дурные условия и зараженный воздух. Мы и доктора не ходили за больными, а почти все получили тиф; солдаты были утомлены, и часто после операции, при первой перевязке, оказывалась гангрена: резекции шли неудачно; ампутации ног кончались хуже, чем рук. Руки лучше заживали и скорей, когда ампутация была выше локтя, а ноги – напротив того; и ампутации бедра, особенно в верхней трети, всегда почти имели печальный исход. Но что было ужасно, это когда одному человеку делали ампутации двух членов зараз, и, однако, были такие молодцы, что и это выдерживали. Я видывала их у нас на перевязочном пункте, видела их потом в симферопольских и екатеринославских госпиталях. Было также очень тяжело, именно у нас на перевязочном, когда, после того как больной подавал надежды на выздоровление, он вдруг начинает лихорадить, пожелтеет, и доктор говорит, что надо его отправить в Гушин дом – для больного это все равно что смертный приговор. А нечего делать, вполне сознаешь, что нельзя только что принесенным раненым быть в соприкосновении с таким больным и видеть умирающего. На перевязочном пункте не должны умирать.

В Гушином доме, куда я ходила, постоянно увидишь трех или четырех умирающих; всякое утро, если погода была теплая, всех больных на койках выносили на двор, а если придешь через полчаса, как они внесены, то уже дух был невыносимый, несмотря на целые ведра ждановской жидкости. Однако и в этом ужасном месте были такие, которые выздоравливали. Я

сама имела удовольствие отдать одному обратно его деньги, которые он мне поручил переслать жене после его смерти.

В этом госпитале были постоянно две сестры, Григорьева и Голубцова, и это был великий подвиг: так там было безотрадно. Бедная Голубцова много вытерпела: во-первых, их экипаж опрокинулся и у нее были сломаны два ребра; потом у нее был тиф, несколько дней она была совершенно без сознания, и наконец, когда летом было немало случаев холеры, она была при этом госпитале и умерла холерой.

В продолжение марта иные сестры выздоравливали, другие занемогали, одна еще умерла.

Пасха в 1855 году была ранняя, 27 марта. В Вербное воскресенье я тоже слегла в тифе, на Страстной неделе причастилась запасными дарами, и хотя была в памяти и даже всякий день одевалась, но дальше кровати не могла идти. Грустно было так проводить Страстную неделю и встретить Христово Воскресение не в церкви, которую не смели иллюминировать снаружи, чтобы не сделать целью для выстрелов, а на постели.

А еще было грустнее, когда в понедельник утром началась страшная бомбардировка. Вас. Ив. Тарасов пришел тотчас ко мне и потребовал, чтобы я сейчас же переехала на Николаевскую батарею. Но пришел Яни, офицер, который нам доставлял все, что нужно по хозяйству, дров или воды. Я у него спросила: «Можно здесь остаться?». Он отвечал: «Очень можно!».

И я опять спокойно легла и слушала пальбу, но грозная записка от Тарасова и экипаж от Николая Ивановича заставили меня послушаться; отправив прежде сестер, я тоже, под тихим весенним дождем, при неумолкаемой пальбе, переехала на Николаевскую.

Кстати, постараюсь описать это странное строение, от которого после не осталось камня на камне. Кто его видел, тот сам вспомнит, а я боюсь, что не сумею описать подробно для других.

Это – длинное, огромное строение, которое служило и казармой, и батареей. Во всю длину его тянулась длинная – не знаю, как и назвать – галерея, не галерея, а скорее длинный коридор; по сторонам – ниши, даже можно назвать почти комнаты, но только ничем они не отделены от прохода, довольно просторны, так что в них стояло шесть и восемь кроватей или только нары. Тут большие окошки, но в них не очень светло, так как вдоль всего строения, по внутренней его стороне, что к городу, идет наружная крытая галерея. С другой стороны, которая обращена к морю, углубления или ниши, только гораздо меньше, что нужно для пушки, и маленькие окна или, лучше сказать, амбразуры. В иных еще в это время стояли пушки и даже люди бывали наготове. Все строение в два этажа, длинные галереи перебиваются сенями, и лестница вниз. На одном конце – хорошие комнаты, где помещался главный штаб и жил граф Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен, а на другом конце, что к Графской пристани – пороховой погреб. Все строение казематировано, и нам отвели каземат довольно просторный, отделенный от других, но сырой и темный, так как он был обращен к морю, а маленькое окошечко служило только амбразурой для пушки.

Была у нас железная печка, и тут мы и пекли, и варили и устроились, точно цыгане: кастрюли, горшки, все в одной комнате. Наша дверь прямо открывалась на ту длинную галерею, какую я сейчас описала. Все койки были заняты фрактуристами (больные с переломами конечностей. – *Прим. ред.*); у многих делается гангрена, дух ужасный, а их стоны так и слышны, когда все умолкает и ляжешь спать.

И несмотря на все это, я очень скоро поправилась и могла, сначала, по крайней мере, ходить по нашим палатам.

Во всяком длинном коридоре посредине висели образа, и перед ними теплилась лампадка. И вот вечером всякий, кто только мог вставать, приходил помолиться перед этими образами. Как теперь вижу, как те, которые лишались правой руки, сейчас же начинали креститься левой.

Скоро я могла идти хоть днем на перевязочный пункт. В эти дни площадь между Николаевской и Собранием бывала наполнена солдатами; они тут и ночуют, и обедают, одни уходят, другие приходят. Трудно было по ночам и проходить в Собрание. Усиленная бомбардировка продолжалась до 10 апреля, когда в одни сутки случилось 238 человек раненых, а 11-го – только 28 человек. Потом иные дни было потише, потом опять сильнее.

Как я была рада, когда с 11 апреля я могла опять через день дежурить по целым суткам! Солдаты нас очень любят и рады, когда мы к ним приходим; для них было большое утешение, когда к ним заходили женщины. Была у нас одна старушка, которой еще 10 марта в ее доме осколком бомбы раздробило бедро. Я ее уговорила на ампутацию, и, несмотря на худые условия (она лежала вместе с мужчинами) и на то, что раз в этой комнате разбило окно осколком, и что ей было 60 лет, – она выздоровела! Но что было ужасно – это видеть раненых детей, как они, бедняжки, мучаются и страдают. Был у нас мальчик семи лет с перебитой ножкой; была даже грудная девочка, которой мать была убита, в то время как она ее кормила. Дочь моей старушки тоже кормила своего ребенка и взялась кормить и нашу раненую малютку, но ребенок скоро умер. Господи, как все это было ужасно и тяжело!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.